

ЭДУАРДО КОТЭ ЛАМУС

*Перевод с испанского Леонида Цывьяна **

Стираксы

Хорхе Гайтану Дурану

Только время в шкуре стиракса,
время, как пес, остающийся вечно без кости...

*

И Я призвал засуху на землю, на горы,
на хлеб, на виноградный сок, на елей
и на все, что производит земля,
и на человека, и на скот,
и на всякий ручной труд.

Аггей, 1, 11

Тут не встанешь, не ляжешь, не сядешь.
Тишины не сыщешь в горах —
гром рокочет, но ни капли дождя.
Одиночества тоже нету в горах,
всюду багровые хмурые рожи
злобно смотрят из глинобитных лачуг.
Будь здесь вода...

*Томас Стернз Элиот
Бесплодная земля*

Скажи мне, засуха, камень, истертый
беззубым временем,
беззубым голодом,
пыль, перемолотая зубами столетий,
столетьями голода,
скажи мне, разбитый кувшин,
лежащий в пыли, ответь —
неужто свет нарождается трением
кости о кость,
человека о человека,
о голод голода,
пока не вырвется искра, крик, слово,
пока не хлынет вода и не вырастет
дерево с бирюзовыми листьями?

*Октавио Пас
Разбитый кувшин*

* Эдуардо Котэ Ламус — Стихи (*Перевод с испанского Леонида Цывьяна*)
// *Поэзия Колумбии* (М.: Художественная литература, 1991), 277–296.

Некоммерческое электронное издание. «*Im Werden Verlag*», 2008.
<http://imwerden.de>

I

В ветре, который кружится и на круги возвращается,
в сущности, нет ничего от времени.
Время не в нем, время — где человек,
внявший судьбе своей, воздух орудьем
снов своих очертил и землю
возделал, чтобы в ней охраниться.

На земле людей это было.
Жизнь там сошлась, сосредоточилась в городе,
что пожелал в гордыне своей стать превыше
блистающих благосклонных небес,
отданных им обожествленным властителям.
Этот город растекся по склонам холмов,
открывал он законы, соединял
все людское в себе, породив небывалую
доблесть непобедимости.

Холм этот всхолен, взлелеян в самых высоких
мыслях богов. И если взглянуть
с гребня вершинного года, увидишь
волчицу, кормящую Ромула,
и город, что явлен был миру в венце
подвигов и святилищ.

Но Палатин совершенно иной.
Здесь всю историю взглядом охватываешь,
она пред тобою раскрыта руинами.
Тут можешь увидеть те самые камни,
что аккуратно со вкусом укладывал Август,
который уже понимал, что поэты —
хвала и слава его принципата;
он был с Вергилием дружен, воспевшим
реформу аграрную,
ибо именно это замыслом было «Георгик»,
где до сих пор еще паром пашня курится
и из земли прорастает пшеница,
где есть наставленья, когда начинать надо жатву,
с силой какой разбрасывать в борозды семя,
и назиданья виноградарям и виноделам,
чтобы вино у них светом взрывалось
и опьяняло, как свет, даже если
рубином пылает.
Близок был к Августу дивный Гораций,
властелин благозвучного метра,
что эпиграммы затачивал, словно топор,
и возделывал несравненное слово.

Холм Палатинский — внутри течения времени.
Точно к небу вздетый кулак, громада его,
за древние вины опустошеньем наказанная.
Его поражает гневливая пышность заката,
и шкура холма, добыча и пленница света,
ежевечерне в сумерках вспыхивает.

Здесь, правда, все многократно четче.
Колонны, колонны, порою канавы,
земля, как под солнцем без тени, и тени —
как раскаленные угли. Ни деревца. Только жажда
да толпы людей, что проходят по площади,
направляясь на кладбище или к реке,
где нету воды. Справа стена с крестом,
слева тоже стена и кресты, под которыми
смерть вместе с мертвыми смотрит сны.

Ветер, который кружится и на круги возвращается,
что-то про это знает, но время — нет.
Время в Шумере, в Ассирии,
оно в Вавилонии, Фивах, Египте, на Крите,
на Парфеноне, у Ксенофонта, в музеях,
в стенах, идеях, политике,
в останках цивилизации.

Здесь же — царство земли и песчаника,
беспредельно иссушенного.

II

...Справа стена с крестом,
слева тоже стена и кресты, под которыми
смерть вместе с мертвыми смотрит сны.

Это совсем не похоже на Чичен-Ица, Мачу-Пикчу и прочие
творения древности нашего континента,
поскольку камень на солнцепеке — словно пылающий ворон.
Его оболочка еле вмещает
одинокость, что потребно для ненависти.
Ничто не взволнует его неизменности —
ни власть, равносильная обвиненью
в бессилии, ни постыдное знанье
безликости, растворенной в надменности.
Но это не поражение.
Все враждебное — ветер,
все меньшее — ворон,
ибо ворон — это черный костер.

Камень, сгорающий на солнцепеке,
и пламя каменной шкуры есть кара.
Тьма преходящая ворона, вероятно,
стать могла бы усладой или плотью богов.
Но внутри — свирепый раздор.
Кто бы представил себе, что в утробе его
окаменевшая тварь
втоптала копыта в глубины земные?

В пышном величье застывший,
с вершины горы порою видится храм —
мышца, вырванная у божества,
судорога исчезающего лица,
след великанской стопы,
округлая мысль,
рот, взыскующий жертвы,
мощный фаллос, воздетый на девственниц,
изнемогающих под похотливой звездой,
чаша пальцев, палица, спазм,
паника, ненависть...

И здесь проходит человек путешествующий.
Он замкнут в себе, словно камень.
Надпись резцом давно уже стерта,
и отсутствие имени означает
свободу.
Будь столько же островов, сколько безмолвия в нем,
море исчезло бы. Потому клеймо неудачи
на челе вопиет о продолженье пути.

III

...только фундаменты башен
да перепуганные колонны
дрожат в ночи.

Только время в шкуре стиракса,
время, как пес, остающийся вечно без кости,
время, лающее, как пес, —
пес, растерзанный снами.

Здесь, на плоскости времени, Темный Гераклит
сумел бы увидеть, что река его — жажда,
сумел бы постигнуть, что лучше
тина, чем дни, зеркало, чем отраженья,
что вода равнозначна мельничному колесу.

Здесь руинам неведома неизменность:
облик их лепит ветер. К примеру,
то, что было развалинами дворца,
превратилось в изваянья выветриванья,
то, что было тенью колонны,
нынче тень всадника.

Этот мгновенный удар копья
в нечто несуществующее, этот
воинственный жест в бессонных глазах,
этот неистовый скак коня,
навек остановленный, этот цвет,
были прежде построения храма,
воздвижения арки, разрушения
чьей-то веры в свирепое божество.

Тут лицо, личина рассвета,
первый сон, даже не вспоминанье,
колонна, пылающая на раскаленном ветру,
жаркие руки, сжимающие
горло всадника, речка, реки
из мрака — к алому жару над тем,
чье бытие несомненно.

В этой для всех незаметной последовательности
есть нечто от неподвижности, от неизменности,
некий покой, невзирая на хаос,
постоянство какое-то, даже если внезапно
эти стираксы исчезнут и возникнут другие,
даже если змеиные заросли, что, замерев,
волшебную слушают флейту,
поймут, что нет их и не было.

Однако здесь все сохраняется, существует.
Может, все-таки прав Парменид?
В основе ничто не меняется,
элементы всегда одинаковы,
бытие неподвижно застыло
(быть и мыслить — одно и то же),
а все зримое и осязаемое —
всего лишь непостижимое.

Всего лишь дальше пламя звезды
над этим миром. Лишь сновиденье,
которое разом в ничто обратится. Ничто,
внятное вечному пламени, где
светом сжигает себя опьяненно то ль под землей,
то ль над лампадою, возносящей
всякое имя зажженное. И погасший огонь
вечно тaitся в стираксе.

Ничто обращается в прах, и все остается
на глазах, под рукой,
и нельзя вынуть след из песка,
обнаружить нельзя в явной форме
нечто с метою нашего краха.
Поэтому, Горгий, понимаю тебя.
Подлинно вижу тебя в непостижимом
после расспросов, что значат
эта жизнь, эти чудища, эти сны.

IV

...Ветер взялся возводить
гордыню разгрома.

В пламени город, и ветер палящий
обегает в неистовстве площади,
лупанарии — древние торжища
любви, разносит мутный багровый огонь,
насмерть сжигающий существа,
что слиплись лицом к лицу. Если бы
это стало концом иль началом!
Ветру так хочется сбросить огонь
со спины. В покинутом городе
истово мародерствует разрушитель:
здесь осквернит сон, там изнасилует память,
тут грабитель становится вдруг
хозяином дома; дротики мечет молчанье,
и каждая пораженная тень обращается в крик;
поэтому нету не только теней, одержимых
ветром, который кружится и на круги возвращается,
но нету покоя, нет мира.

Свет клеймит зрение, словно быка,
крутит в углях жегало и метит
безжалостно стиракс на холме:
раскаленным тавром приговор исполняет,
что вынесен был окончательно и бесправно
этой земле судьбою, чтобы
попрать человека, который трудолюбиво
обрабатывал пашню, устраивал жизнь.
Нет в ее недрах сокрытых руд,
нет на поверхности зелени,
нету ни дерева, ни тропки, ни поля,
даже нету звезды в вышине,
и пропали высверки, молнии, громы.
Все обратилось в ничто, и ничто стало всем.
Ощутить невозможно реальность,

разве только во сне. Ибо это путь человека
в глубь души, чтоб увидеть себя
после того как впечатался след стародавний.

Веет время, и жизнь отгоняет
на землю и дальше под землю,
где мертвые смотрят в точности так,
как мертвые смотрят.
Пора начинать толкованье поступков,
не совершенных при жизни,
давно истлевших страстей,
а также любовей, обратившихся в прах
на таком же могильном ложе, в таком же
чреве порожном, в небытии, в пустоте.

Тут мертвые, погребенные лишь затем,
чтоб им с мертвецами своими остаться,
истомились в замирающей мертвенности
и вот раздирают ногтями
жесткую землю, что их претворяла в вино.
Труд начался, как только владенья его
распространились под горы
и завязалось сраженье за воду,
которую пили покойники, препятствуя влаге
подняться по корням до листвы
и познать воздух и небеса.

Потом говорили, воды, дескать,
не существует. Но то была ложь, как река,
сравнимая с жизнью, которая
тоже не существует. Кроме жажды.
Есть только жажда, все прочее — небытие.

V

...свидетели, коим ангелы
языки мечами урезали.

Время создали люди,
чтобы дать имя понятиям,
малопонятым для них, —
жизни, смерти, любви, —
и предназначенью постигнуть,
что деяния суть следы,
кости, кожа, сознание.

Вначале была гора, гордость горной системы,
и по ее хребту металась грома,
как мечется медная грива коня.
Равнина выпила горную воду,
и тогда на нее с крутизны пала жажда,
возмездье, зачатое злобой:
тлели корни, проказа съедала
камень, страхом полня спящие руды;
она обращала их в пыль,
в камни, в распад, и только
отзвук беспмятства слышался внутри темноты.

Прежде гора призывала дождь,
пищи прося для плоти своей бесплодной,
семени — чреву;
неумолимое небо приговорило ее к произволу судьбы:
выпило реку до дна.

Сперва пошли трещины, после рухнули портики,
открылись туннели, и безжалостный плуг,
влекомый злопамятными волами,
просквозил целину лабиринтами.

И тогда начались сраженья явлений:
не искры обнажали оружие — земля;
трескались, словно губы от жажды, мечи,
скрестясь с молнией засухи. Кальций
на воздух восстал, барий на бесконечность,
земля в галопе на незримые стены,
безнадежность на звезды;
птицы в себе воплощали
луки и стрелы;
перья, подобные теням, факелы, схватки
с бессчетными пнями; против энергии вышли
атомы, куколки, и личинки, и разные виды материи
в надежде вдохнуть раскаленный воздух.

Постепенно гора, побежденная, пала.
Вырос город как доказательство
битвы. Ветер взялся возводить
гордыню разгрома.

Замки, раздавленные судьбою,
разрушились, только фундаменты башен
да перепуганные колонны
дрожат в ночи. Слышно мертвое эхо
больших дверных колец; и улицы без названий
неповоротливо разбегаются. Высоки были стрелы
готических сводов, но выше еще
лица их обитателей. Фонтаны, сады,
альковы супружеские, чрева, принявшие семя
во тьме, поколенья, изгонявшие жажду
из почвы, чтобы кончаться в муках, —

где они нынче?
Где эта исчезнувшая цивилизация?

VI

В сумерках на вершине
открываются еще не обретшие облик стираксы.

Кружащийся ветер по-вечернему веет,
майским пронизанный светом, кружится,
напевая про дальние страны, поет,
словно не шастал по свету.
Ветер гудит, ветер гудит.
Ветер гудит, а навстречу
время — завтрашнее, такое же,
как вчера, как сегодня, как вечно.
Ветер в городе, колокол
прошлого времени, в медленном
пламени язык колокольный, звук
на разгромленных солнечных улочках.

Слышен гул множеств миров,
людей, что проходят, не чуя
движенья, следов, что несут
тяжесть тел без судеб;
видно, как они существуют,
как под неоновым светом
бредут, как безличные тени
перетекают в безличные тени
и темные тени тьмы.
Неожиданно — крик в ночи.
Механический стон вызывает
страх, подводит строенья
под душу, под крышу, туда,
где ветер и ужас разносят его
по окнам, дворам, чердакам,
мебели, крови, нервам;
вмешивается сирена,
мгновенно мелькает, словно
сомненье тревожное, тыча
пальцем в совесть, и тут же,
чуть звякнет, во рту возникает
привкус вины, ибо в этом
городе все виновны;
допрос учиняет сирена
с единственным глазом-мигалкой
всем, кто слышит ее.

Сирена терзает, взывает —
это же вопль о помощи,
одинокости голос,
соцветие страха, слово,
общее во всех языках
нищеты, болезни,
преступления.
Над мостом через реку Майн
чайка летит, а на черной
воде белая лодка,
и тоже зовется «Чайка».

Конечно, тут было бы нужно
перейти, напевая, реку.
Но то, что видится замком
там, на обрубках скал,
не Гейдельберг ли? А дальше
не стены ли Кордовы встали?
А за ними, быть может,
Торре-де-Сан-Хуан-Абад?

Колокол средь развалин
мечется на колокольнях,
словно конь среди пламени,
пророчествуя, нет, бредя,
в ужасе бомбардировки,
и в преддверии смерти —
ржанье огня, как будто
скачет конная лава.
А тут вот — Gedächtniskirche ¹,
всегдашняя рана, память
о Берлине, под бомбами павшем.

То, что кажется улочкой, —
старое русло Темзы,
обычной реки, протекающей
в городе по имени Лондон.
В руинах же все безымянно.
Здесь дерево было. Не то ли
с проклятием Хиросимы,
чудовищный пащенок виселицы?
Неужто же эти стираксы
останутся лобным местом
исчезнувших городов?

¹ Церковь-памятник (нем.).

Этот вымерший мир,
должно быть, зачах в себе:
в его человеке разрушили
все, чем тот обладал, —
волю, веру и мужество
быть таким, каким вздумалось,
а оставили только
разум в размер головы.
Ветер гудит, все гудит.
Ветер гудит, и выветривание
времени бьет в глаза,
хотя города здесь видели
не время — деревья песка.

Все так отдаленно — страны
погибшие, время само;
и день изгнанья далек,
как далеки от ягод отжимки,
когда пьешь вино. Далеко
от беспамятных «почему»,
от «когда», от вчера, от ветра.

Но если опасна привычка
жить без судьбы и если
от грехов очищенье —
всего лишь быть вне поступков,
коль пустоту открываем
и в пустоте пребываем,
то где же сыскать нам
подлинное?

Здесь уже был Страшный суд.
Что уцелело — следы, останки,
свидетели, коим ангелы
языки мечами урезали.

VII

...внутри судьба.

Но это совсем другое:
время зря повествует.

Человека не было никогда, но есть его сны.
Куда мчится свет? А куда — время?

Вне всяких сомнений, у города были стены.
Кто же возвел их?
Остались культы укреплений.
От кого защищала башня?
Чем было прошлое?
Почему стал этот город могильником?

Две колонны возвещают царство свое.
По левую руку тянутся заросли
развалин. Справа — парение птиц,
а над ними солнце, почти затемнившееся.
Жил ли кто-нибудь тут?
Вся гора — сплошные стираксы;
давние — может, даже и без богов, храмы,
где не было жизни, — огромные пагоды, купол сверкающий,
дерзкий взлет архитрава,
усложненная сосредоточенность архивольта,
и всего только сон — слово, единственное,
что живо после людей. Вверху, словно взмах бича
крестовые арки, слиянье каменных струй,
творенье безымянного мастера, а ниже
мощная подпора контрфорса, стены, проемы оконные
и база колонны, несущая
тяжесть веков.

Сваленные колонны здесь предаются
воспоминаниям, и неизвестно, то ли рощи олив,
связанных узами, как лампы, пылают,
то ли пальцы множества похороненных рук,
на чьих ладонях не записалась судьба;
можно представить их корни
и как между ними проходит Бог;
а вдруг их опоры — кроны: они зарылись,
чтобы дышать под землю небом
в созвездиях праха.

В сумерках на вершине
открываются еще не обретшие облик стираксы.
Их еще лепят быстрые руки ветра.
Но нету любви. Нет и не было жажды.
Нет жизни. Не было жизни
и нет. А что же?
В этом мире действия суть колонны,
свидетельства, материя подлинности.
Прочее несущественно.
Коль существует обман,
как ему не поддаться,
если разум, скорбь или сон
толкают к нему?
И где теперь те, что совместно,
гонимые голодом иль подгоняемые бичом,
камень за камнем строили стены?
Да вне города! Кто сказал это?

Между вчера и сегодня всего лишь
жесткое сердце, что отдано смерти,
и движение туч на небе, и дни,
и второе дно погребенных деяний.
Здесь, где трава, храмы, колонны,
вдруг припомнишь: кто не мечтал убежать?
Кто хоть миг не желал
сделать лук из забвения,
чтобы убить действительность?

Сзади со всеми слитное: душа, что распахнута
слову, иная плоть. Душа падает,
раскрывается, светит и падает.
Где вода?
Где эпоха, в которой осталась вода?

Вовне — рыжее маиса огонь,
а внутри судьба. Вовне тяжкий труд,
а внутри кара. Какое чрево,
от чьего семени их породило?

Отрывается что-то от сна, словно ставень:
боль в висках, божество, безмолвие,
свет. Позади начинается то,
что мы являем собою в мире ином.

А провал, по которому время проходит,
не толще чем волос. Вопрошаю его
о прошлом,
про камень, про скорбь и про узы,
какими связал себя человек.
Нет здесь воды. Нет жажды.
Нет ничего. Время себя потеряло:
ветер — облик иного времени.

VIII

...провал, по которому время проходит,
не толще чем волос.

Я не давал открывать одиночество,
как откупоривают бутылку,
и не нашел никакой дороги;
я назад отступил, чтобы слова отыскать, чтобы петь,
и ничего не увидел;
я в город вернулся, а там только ветер,
ветер, который кружится, точно безумный,
словно Бога он ищет, словно бы раздрает
высокие, твердые, разлапистые стираксы.

Комментарии

ЭДУАРДО КОТЭ ЛАМУС (EDUARDO COTE LAMUS, 1928—1964). Поэт и прозаик, опубликовавший пять поэтических сборников. Наиболее известны «Сны» (1956), «Повседневная жизнь» (1959), «Стираксы» (1963). О последней один из критиков заметил: «Здесь все на удивление гармонично и все друг с другом переплетено».

Стираксы

Стиракс — бальзамическое дерево, дающее благовонную смолу.

Октавио Пас (род. в 1914 г.) — мексиканский поэт, эссеист и философ.

«Георгики» («Поэма о земледелии»; 36—29 гг. до н. э.) — дидактическая поэма Вергилия.

Холм Палатинский — один из семи холмов, на которых расположен Рим.

Чичен-Ица — древний город индейцев майя на полуострове Юкатан.

Мачу-Пикчу — крепость и святилище древних инков (Перу).

Темный Гераклит. — Греческий философ Гераклит (ок. 554—483 гг. до н. э.) был прозван Темным за глубину и загадочность мыслей, которые часто излагал в сложных понятиях и образах.

Горгий (ок. 480 — ок. 380 гг. до н. э.) — древнегреческий софист, автор сочинения «О природе, или О несуществующем». Утверждал, что ничего не существует; если бы нечто существовало, то было бы непознаваемо; если бы нечто было познаваемо, то познанное было бы невыразимо.